*Дмитрий С. Бочаров*

**ТЕОлогия Ван Гога (Письма брату)**

(драматургическая обработка писем Ван Гога)

*Перевод: Полины Мелковой*

Дорогой Тео, тебе хочется иметь возможность почаще разговаривать со мной о разных вопросах, касающихся искусства; я лично испытываю такое желание непрестанно.

Сегодня утром без четверти пять началась ужасная гроза; чуть позже, под проливным дождём, в ворота верфи влился первый поток рабочих. Я встал и вышел во двор, захватив с собой несколько тетрадей. Я сел в беседке и стал их читать, одновременно наблюдая за верфью и доками. Тополя, бузина и другие кусты гнулись под неистовым ветром, дождь колотил по деревянным стапелям и палубам кораблей; шлюпки и пароходик шныряли взад и вперёд, а вдали у деревни, на противоположной стороне залива, виднелись коричневые, быстро уходящие паруса, дома, деревья и пятна более ярких цветов – церкви. Снова и снова слышались раскаты грома и сверкали молнии, низко над водой носились чайки. Это было величественное зрелище и подлинное облегчение после вчерашней томительной жары…  
Когда я вот так пишу, я время от времени непроизвольно набрасываю небольшой рисунок. Сегодня утром – Илья в пустыне под грозовым небом; на переднем плане несколько терновых кустов; словом, ничего особенного.

Ты пишешь, что, хотя мои работы и не войдут в моду, на них со временем всё-таки найдутся любители. Что ж, так, в сущности, думаю и я. Если мне удастся вдохнуть в мои вещи тепло и любовь, они найдут себе друзей. Дело за тем, чтобы продолжать работать.

Когда пустой холст идиотски пялится на тебя, малюй хоть что-нибудь. Ты не представляешь себе, как парализует художника вид вот такого пустого холста, который как бы говорит: «Ты ничего не умеешь». Холст таращится, как идиот, и так гипнотизирует некоторых художников, что они сами становятся идиотами. Кажется, сама жизнь поворачивается к человеку своей обескураживающей, извечно безнадежной, ничего не говорящей, пустой стороной, на которой, как на пустом холсте, ничего не написано.

Бог – это мигающий маяк, который то вспыхивает, то гаснет. Сейчас мы несомненно переживаем такое мгновение, когда он погас. Мне очень нравится поговорка: «Как станет хуже некуда, так и на лад пойдёт». По временам я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно «хуже некуда», потому что мне очень уж желательно, чтобы всё наконец «пошло на лад». Ну да поживём – увидим… Если бы я стал задумываться обо всех, вероятно, предстоящих нам неприятностях, я вообще не смог бы ничего делать. Но я очертя голову накидываюсь на работу, и вот результат – мои этюды; а уж если буря в душе ревёт слишком сильно, я пропускаю лишний стаканчик и оглушаю себя.

Беда не только в том, что я сравнительно поздно занялся рисованием; отнюдь не исключено также, что у меня нет оснований рассчитывать на долгие годы жизни…

Как бы часто и глубоко я ни был несчастен, внутри меня всегда живёт тихая, чистая гармония и музыка. В самых нищенских лачугах и грязных углах я вижу сюжеты рисунков и картин, и меня непреодолимо тянет к ним. Ты хорошо знаешь, что одна из основных истин Евангелия, и не только его, но Писания в целом – «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Через тьму к свету. Так кто же больше всего нуждается в этом свете, кто наиболее восприимчив к нему? Опыт показывает, что тех, кто работает во тьме, в чёрных недрах земли, как, например, углекопов, глубоко захватывают слова Евангелия и что они верят в них. При свете лампы, струящей слабый, тусклый свет, трудится он в тесном забое скрючившись, а то и лёжа, чтобы вырвать из лона земли уголь. Он привык к такому образу жизни и, спускаясь в шахту, во тьме которой ему светит лишь прикрепленная к его шапке маленькая лампочка, он вверяет себя Богу, а Господь видит его труд и охраняет его самого, его жену и детей.

Я попеременно поглощён двумя мыслями. Первая – это материальные трудности: как вывернуться, чтобы обеспечить себе возможность существовать; вторая – работа над колоритом. Я постоянно надеюсь совершить в этой области открытие, например, выразить чувства двух влюбленных сочетанием двух дополнительных цветов, их смешением и противопоставлением, таинственной вибрацией родственных тонов. Или выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на тёмном фоне. Или выразить надежду мерцанием звезды, пыл души – блеском заходящего солнца. Это, конечно, не иллюзорный реализм, но разве это менее реально? Рассказываю тебе обо всём этом, чтобы ты не вообразил опять, будто я пребываю в меланхолии. Напротив, я почти исключительно поглощён мыслями о красках, акварели, мастерской и прочее, и прочее… Ах, Тео, если бы мне только найти подходящую мастерскую!

Последнее время я очень часто рисовал на улице лошадей. Кстати, иногда мне очень хочется иметь лошадь в качестве модели. Так вот, вчера, например, я слышал, как кто-то позади меня сказал: «Ну и художник! Он рисует задницу коня, вместо того чтобы рисовать его спереди». Мне это замечание даже понравилось. Что я такое в глазах большинства? Ноль, чудак, неприятный человек, некто, у кого нет и никогда не будет положения в обществе, – словом, ничтожество из ничтожеств. Ну что ж, допустим, что всё это так. Так вот, я хотел бы своей работой показать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества. Я – человек одержимый, способный и обречённый на более или менее безрассудные поступки, в которых мне приходится потом более или менее горько раскаиваться. Мне часто случается говорить или действовать чересчур поспешно там, где следовало бы набраться терпения и выждать. Думаю, впрочем, что другие также не застрахованы от подобных оплошностей.

Меня часто огорчает, что живопись похожа на скверную любовницу, которая постоянно требует денег, которой всегда их мало; я говорю себе, что, даже если у меня порой и получается приличный этюд, его всё равно было бы дешевле у кого-нибудь купить. Остаётся одно – надежда на то, что со временем начнёшь работать лучше, но и эта надежда – мираж.

Я был бы очень рад, если бы в твоем гардеробе случайно нашлись пиджак и пара брюк, подходящие для меня, которые ты больше уже не носишь. Я человек, и человек со страстями, я должен пойти к женщине, иначе я замёрзну или превращусь в камень, короче – буду сбит с ног. Ах, Тео – любая женщина в любом возрасте, если она любит и если в ней есть доброта, может дать мужчине если уж не бесконечность мгновения, то мгновение бесконечности!

Прости, что долго не писал. Этой зимой я встретил беременную женщину, оставленную человеком, ребёнка которого она носила, беременную женщину, которая зимой бродила по улицам, чтобы заработать себе на хлеб – ты понимаешь, каким способом. Я нанял эту женщину, сделал её своей натурщицей и работал с ней всю зиму. Я не мог платить ей то, что полагается натурщице, но это не помешало мне хоть немного поддержать её; и, слава Богу, я пока что сумел уберечь и её, и её будущего ребенка от голода и холода, деля с ней свой собственный хлеб. Когда я встретил эту женщину, она привлекла моё внимание своим болезненным видом. Я заставил её принимать ванны, обеспечил её, насколько то было в моих возможностях, более сытной пищей, и она стала гораздо здоровее. Мне кажется, что каждый мало-мальски сто́ящий мужчина сделал бы в подобном случае то же самое.

Я буду знать только одно – рисование, а у Христины будет только одна постоянная работа – позирование. Женщина эта привязана ко мне, как ручной голубь, и ей, как и мне, известно, что такое бедность. Бедность имеет свои за и против, но, несмотря на бедность, мы всё-таки рискнём. Рыбаки знают, что море опасно, а шторм страшен, но не считают эти опасности достаточным основанием для того, чтобы торчать на берегу и бездельничать. Такую мудрость они оставляют тем, кому она нравится. Пусть начинается шторм, пусть спускается ночь! Что хуже – опасность или ожидание опасности? Лично я предпочитаю действительность, то есть опасность… У меня остаётся моё будущее – и я намерен идти вперёд.

Ты спрашиваешь, а как же Кее? Моя любовь к ней – нечто совершенно иное. О, когда я думаю о Кее, я всё ещё повторяю: «Она и никакая другая!» Её «нет, нет, никогда» оказалось недостаточно сильным, чтобы вынудить меня отречься. Я поднёс руку к зажжённой лампе и сказал: «Дайте мне видеть её ровно столько, сколько я продержу руку на огне». Но они потушили огонь и ответили: «Ты не увидишь её». И я ощутил, что любовь умерла во мне, а её место заняла пустота, бесконечная пустота. Я больше ничего не понимал, я думал: «Неужели я обманывал себя?.. Боже мой, Боже мой, за что Ты покинул меня?.. О Боже, Бога нет!» Как раз в это время я нашёл Христину. Я привязался к Син, а она ко мне, она стала моей верной помощницей, которая следует за мной повсюду и с каждым днём делается мне всё более необходимой. Я всё ещё люблю Кее, но не застыну и не расслабну из-за неё. Если женщина не хочет меня, что ж, я не вправе обижаться, но, разумеется, попробую как-то это себе компенсировать. Ведь стимул, искра огня, которая нам нужна – это любовь. И не обязательно любовь духовная. Ты говоришь, Тео, что я не сделал бы этого, если бы по-настоящему любил Кее. Но неужели ты и теперь не понимаешь, что после всего, что было, я не мог терпеть – это значило бы впасть в отчаяние? Колебаться и откладывать было неуместно, надо было действовать.

Если я не женюсь на Христине, значит, с моей стороны было бы порядочнее с самого начала не заботиться о ней.

Рад, что ты откровенно высказал мне те мысли, какие были у тебя в отношении Син, а именно, что она интриганка, а я дал одурачить себя. И я понимаю, что ты мог вполне искренне так думать: подобные вещи случаются нередко… Но с Син дело обстоит иначе. Да, я не испытываю к ней то страстное чувство, которое питал в прошлом году к Кее. Но мы с Христиной – двое несчастных, которые держатся друг за друга и вместе несут своё бремя; именно поэтому несчастье у нас превращается в счастье, а невыносимое переносится так легко…

Оставайся при своём мнении, поступай согласно своим принципам, а я буду делать то же самое; однако давай по возможности не целиться прямо друг в друга: мы ведь всё-таки братья…

Уже поздно. Здесь, в мастерской, так тихо и спокойно, а на улице дождь и ветер, отчего тишина в доме кажется ещё более невозмутимой. Как бы я хотел, брат, чтобы ты был со мной в этот тихий час! Как много я мог бы тебе показать! Я нахожу, что мастерская выглядит очень славно: простые серовато-коричневые обои, добела выскобленный пол, кисея на окнах, всюду чисто. В жилой комнатке: стол, несколько табуретов, керосинка, большое плетёное кресло у окна, которое выходит на знакомые тебе по рисункам двор и луга, а рядом – маленькая железная колыбель с зелёным одеяльцем. Колыбель, видишь ли, это нечто совершенно особое, такое, с чем не шутят. Я не могу смотреть на неё без волнения: большое и сильное чувство охватывает человека, когда он сидит рядом с любимой женщиной, а подле них в колыбели лежит ребёнок. Пусть то место, где она лежала и где я сидел возле неё, было лишь больницей – всё равно там была вечная поэзия рождественской ночи с младенцем в яслях, та поэзия, которую видели старые голландские художники, – свет во тьме, яркая звезда в тёмной ночи. Вот почему я повесил над колыбелью большую гравюру с Рембрандта: две женщины у колыбели, одна из которых читает Библию при свете свечи, резко контрастирующем с глубокими тенями погружённой в полумрак комнаты…

Я ещё раз принялся за старую великаншу – ветлу с обрубленными ветвями и думаю, что она станет лучшей из моих акварелей. Мрачный пейзаж: мёртвое дерево возле заросшего камышом пруда; в глубине, где скрещиваются железнодорожные пути, чёрные, закопчённые строения – депо Рейнской дороги; дальше зелёные луга, насыпная шлаковая дорога, небо с бегущими по нему облаками, серыми, со светящейся белой каймой, и в мгновенных просветах между этими облаками – глубокая синева. Короче говоря, мне хотелось написать пейзаж так, как его, по-моему, видит и ощущает путевой сторож в кителе, когда, держа в руках красный флажок, он думает: «Унылый сегодня денёк».

…Хочу предложить тебе отложить всю историю с моим гражданским браком на неопределенное время, скажем до тех пор, пока я не начну зарабатывать 150 франков в месяц продажей своих работ и твоей помощи, следовательно, больше не потребуется.

Иногда я сожалею, что женщина, с которой я живу, ничего не понимает ни в книгах, ни в искусстве. Но разве моя привязанность к ней (несмотря на всё её невежество) не доказывает, что между нами существует искреннее чувство? Знаешь, Тео, какие трудности возникли у меня с этой женщиной после того, как я написал тебе в прошлый раз? Её семья попробовала оторвать её от меня. Причины, по которым семейство Христины советует ей оставить меня, сводятся к тому, что я слишком мало зарабатываю, якобы плохо отношусь к ней, взял её только для позирования и в трудную минуту, без сомнения, брошу. Кстати, из-за ребёнка она уже в течение целого года почти не имела возможности мне позировать.

Будущее рисуется мне отнюдь не в розовом свете.

Главное – постарайся поскорее приехать, брат: я не знаю, долго ли ещё выдержу. Всё это чересчур для меня, и я чувствую, что скоро вконец обессилею. Говорю прямо: постепенно меня охватывает страх, что так я никогда не приду к цели. Здоровья у меня хватило бы, если бы мне не пришлось так долго голодать: всякий раз, когда вставал вопрос – голодать или меньше работать, я по возможности выбирал первое, пока окончательно не ослаб. Как выдержать? Я так ясно и бесспорно вижу, насколько моё состояние отражается на моей работе, что просто не знаю, как быть дальше.  
Не рассказывай никому про меня, брат: ведь, если обо всём этом узнают определённые люди, они объявят: «Ну вот, мы это давно предвидели и предсказывали».

Как я уже писал, у меня был разговор с Христиной. Мы поняли, что впредь нам нельзя оставаться вместе, ибо мы сделаем друг друга несчастными, хотя оба чувствуем, как сильно мы привязаны друг к другу. А потом я ушёл подальше за город, чтобы поговорить с природой наедине. Ты знаешь эту местность: пышные, величественные и безмятежные деревья рядом с отвратительными зелёными игрушечными дачами и всеми пошлостями, какие только могла изобрести по части цветочных клумб, беседок и веранд тяжеловесная фантазия богатых голландских бездельников. Дома там большей частью уродливые, хотя попадаются, впрочем, старинные и внушительные.  
И вот в эту самую минуту высоко над лугами, бесконечными, как пустыня, поплыли одна за другой гряды облаков, и ветер первым делом накинулся на дома, окруженные деревьями и выстроившиеся шеренгой по ту сторону канала, где проходит чёрная насыпная дорога. Деревья были великолепны: в каждом из них – я чуть было не сказал: в каждой фигуре – чувствовалось нечто драматическое. Но пейзаж в целом был ещё прекраснее, чем эти бичуемые ветром деревья сами по себе; дождь и ветер так хлестали нелепые дачки, что в этот момент даже они приобрели своеобразную характерность.  
Я увидел в них доказательство того, что даже человек нелепого вида и поведения или склонный к эксцентричным причудам, когда его поражает настоящее горе и подавляет беда, может стать подлинно драматической, неповторимо характерной фигурой…

По твоему мнению, может случиться так, что я останусь совершенно одинок; не утверждаю, что так не случится – я не жду ничего другого и буду доволен, если жизнь моя окажется хоть сколько-нибудь терпимой и сносной. Но заявляю тебе: я не сочту такую участь заслуженной, так как, по-моему, не сделал и никогда не сделаю ничего такого, что лишило бы меня права чувствовать себя человеком среди людей… Одиночество – достаточно большое несчастье, нечто вроде тюрьмы. До чего оно меня доведёт – этого сказать сейчас хоть сколько-нибудь определенно нельзя.

Видел ли ты за последнее время что-нибудь хорошее?

Сегодня утром приходит человек, чинивший у меня недели три тому назад лампу; кроме того, я купил у него тогда кое-какую глиняную посуду, которую он сам же мне навязал. Он вваливается ко мне и начинает скандалить, почему это я только что уплатил его соседу, а ему нет. Всё это сопровождается соответствующей бранью, шумом, проклятиями. Я отвечаю, что уплачу ему, как только получу деньги, поскольку в данную минуту у меня нет ни одного сента, но только подливаю масла в огонь. Затем я прошу его уйти, наконец толкаю к двери. Он же, видимо, только того и ждал: он хватает меня за шиворот и швыряет об стену так, что я долго не могу потом встать с пола.

Пишу это тебе для того, чтобы ты видел, как необходимо мне найти какую-то возможность заработать хоть немного денег…

Я не могу полностью доверять своему глазу, когда дело касается моей собственной работы. Например, оба этюда, которые я сделал во время дождя – грязная дорога с маленькой фигуркой – кажутся мне полной противоположностью некоторым другим этюдам. Глядя на них, я снова чувствую тоскливую атмосферу дождливого дня, и в фигурке, хотя она состоит лишь из нескольких пятен краски, есть, на мой взгляд, какая-то жизнь, причём достигается это отнюдь не правильностью рисунка, потому что фактически рисунка там нет. Я хочу сказать вот что: как мне кажется, в этих этюдах есть нечто от той таинственности, которую ощущаешь, когда смотришь на природу прищурив глаза, вследствие чего формы упрощаются до цветных пятен. Все это выяснится со временем, но в данный момент я нахожу в некоторых своих этюдах нечто новое в смысле цвета и тона.

…Я не знаю, что за будущее ожидает нас, не знаю, изменится наша жизнь или нет, если всё у нас пойдёт гладко, но могу сказать лишь одно: «Будущее не в Париже и не в Америке – там всегда будет одно и то же, вечно одно и то же. Если хочешь стать иным, приезжай сюда!»

Ты, возможно, был несколько удивлён, когда я коротко известил тебя, что собираюсь на некоторое время переехать к нашим и что пишу тебе уже из дому… Сделал я это, однако, с большой неохотой. Чувствую, что отец и мать инстинктивно думают обо мне. Пустить меня в семью им так же страшно, как впустить в дом большого взъерошенного пса. Он наследит в комнатах мокрыми лапами – и к тому же он такой взъерошенный! Он у всех будет вертеться под ногами. И он так громко лает. Короче говоря, это – скверное животное. Согласен. И всё же у этого пса человеческая жизнь и душа, да ещё настолько восприимчивая, что он понимает, как о нём думают – этого псы обычно не умеют. Пёс сожалеет, что явился сюда, потому что там, в степи, ему было не так одиноко, как в этом доме, несмотря на всё радушие его хозяев. Визит пса был проявлением слабости, которая, надеюсь, вскоре позабудется и которой он постарается не допускать в будущем.

Я останусь псом, я буду нищим, я буду художником, я хочу остаться человеком – человеком среди природы.

Вот почему я решаюсь почти определённо утверждать, что моя живопись станет лучше. У меня ведь, кроме неё, ничего нет.

Из-за отсутствия хорошей модели я ещё не начал заниматься тем, что меня на этих днях больше всего захватило в природе. У полусозревшей пшеницы сейчас тёмный, золотисто-жёлтый тон – ржавый или бронзово-золотой, доходящий до максимального эффекта благодаря контрасту с приглушенным кобальтовым тоном воздуха. Представь себе на таком фоне фигуры женщин, очень крепких, очень энергичных, с бронзовыми от загара лицами, руками и ногами, в пропылённой, грубой одежде цвета индиго и чёрных чепцах в форме берета на коротко остриженных волосах; направляясь на работу, они проходят по пыльной красновато-фиолетовой тропинке между хлебов, кое-где перемежающихся зелёными сорняками; на плече у них мотыга, под мышкой ржаной хлеб, кувшин или медный кофейник.  
Уверяю тебя, это нечто поистине настоящее.

Я потерял сон и аппетит, вернее, ем и сплю слишком мало, отчего очень слабею. На дворе тоскливо: поля – чёрный мрамор из комьев земли с прожилками снега; днём большей частью туман, иногда слякоть; утром и вечером багровое солнце; вороны, высохшая трава, поблекшая, гниющая зелень, чёрные кусты и на фоне пасмурного неба ветви ив и тополей, жёсткие, как железная проволока.

В сущности, у меня одно желание – жить в деревенской глуши и писать деревенскую жизнь. Я чувствую, что могу найти себе здесь поле деятельности; таким образом, я тоже возьмусь за плуг и начну прокладывать свою борозду. Мне ещё предстоит преодолеть много трудностей, прежде чем я заставлю людей понимать мои картины. На этой неделе я намерен начать композицию с крестьянами, сидящими вечером вокруг блюда с картофелем.

Это было настоящее сражение, но такое, в которое я шёл с большим воодушевлением, хотя всё время боялся, что у меня ничего не выйдет. Целую зиму я держал нити будущей ткани и подбирал выразительный узор; и, хотя ткань у меня получилась на вид необработанная и грубая, нити были подобраны тщательно и в соответствии с определёнными правилами. Тот же, кто предпочитает видеть крестьян слащавыми, пусть думает, что хочет. Если картина пахнет салом, дымом, картофельным паром – чудесно: в этом нет ничего нездорового; если хлев пахнет навозом – хорошо: так хлеву и положено; если поле пахнет спелой рожью или картошкой, гуано или навозом – это здоровый запах, особенно для городских жителей.

Интересно, понравятся ли тебе «Едоки картофеля»? Надеюсь – да. Я уверен – эта картина будет хорошо смотреться в золоте. Однако она будет выглядеть не хуже и на стене, оклеенной обоями глубокого цвета спелой ржи.

Вчера вечером со мной случилось кое-что, о чём я расскажу тебе так подробно, как только могу. Я снёс свою картину к одному знакомому. У этого человека есть деньги, и картина ему понравилась, но, когда я увидел, что она хороша, что сочетанием своих красок она создает в гостиной атмосферу тихой, грустной умиротворённости, я почувствовал прилив такой уверенности в себе, что не смог продать эту работу. Но так как она пришлась моему знакомому по душе, я её подарил ему, и он принял подарок именно так, как мне хотелось – без лишних слов, сказав только: «Эта штука чертовски хороша».

Тяжело, страшно тяжело работать, когда ничего не продаёшь и платишь за краски из того, чего, как тщательно ни рассчитывай деньги, буквально еле-еле хватает на еду, питьё и жильё. А тут ещё нужны модели! Знаешь ли ты, например, что за всё время пребывания здесь я только три раза ел горячую пищу, а остальное время сидел на хлебе? Таким путём становишься вегетарианцем в большей степени, чем это полезно человеку. Подумать только! На строительство государственного музея тратятся сотни тысяч гульденов, а художники тем временем подыхают с голоду…

У меня полный упадок сил, а я ещё усугубил его чрезмерным курением, которому предавался главным образом потому, что, куря, не так сильно чувствуешь пустоту в желудке. Но надо постараться выжить и сохранить силы… Если я ещё больше запущу своё здоровье, со мной случится то же, что случилось со многими художниками (если поразмыслить – даже с очень многими): я сдохну или, что ещё хуже, превращусь в идиота…

Вчера сделал несколько рисунков с видом собора… Но я предпочитаю писать глаза людей, а не соборы, как бы торжественно и импозантно ни выглядели последние: человеческая душа, пусть даже душа несчастного нищего или уличной девчонки, на мой взгляд, гораздо интереснее. Фигуры женщин из народа, которые я здесь вижу, производят на меня огромное впечатление; я испытываю гораздо большее желание писать их, чем обладать ими, хотя, право, неплохо бы сочетать то и другое… Возможно, ты не поймёшь меня, но это правда: когда я получаю деньги, мне больше всего хочется не наесться до отвала, хотя я давно уже пощусь, а поскорее взяться опять за живопись, и я немедленно начинаю охотиться за моделями, чем и продолжаю заниматься до тех пор, пока деньги не иссякнут… Здесь, видимо, очень трудно достать обнажённую модель; во всяком случае девушка, которую я писал, не согласилась.

Есть у меня ещё один замысел, который я надеюсь осуществить – это нечто вроде вывесок. Например, для торговца рыбой – натюрморт с рыбами; то же самое для торговцев цветами, для зеленщиков, для ресторанов…

По вечерам я хожу в Академию рисовать, но мне кажется, что в классе рисования все работают плохо и идут совершенно неверным путём.

Как думаешь, сказал импрессионизм своё последнее слово или нет, если уж держаться за термин «импрессионизм»? Я страшно упрям, и меня больше не трогает то, что люди говорят обо мне и о моей работе. Но я боюсь успеха. Мне страшно подумать о похмелье, ожидающем импрессионистов на следующий день после их победы: а вдруг те дни, которые кажутся нам сейчас такими тяжёлыми, станут для нас тогда «добрым старым временем»?

Должен откровенно сказать, что на душе у меня станет гораздо легче, если ты одобрительно отнесёшься к моему намерению приехать в Париж…

Работать в Париже, по-моему, совершенно невозможно, если только у человека нет такого места, где он мог бы передохнуть, успокоиться и снова стать на ноги. По временам я чувствую себя старым и разбитым, и, всё-таки, ещё настолько способным любить, чтобы не быть полностью во власти чар живописи. Чтобы добиться успеха, надо обладать тщеславием, а тщеславие кажется мне нелепым. Не знаю, что из меня выйдет, но я, прежде всего, хотел бы не быть таким тяжким бременем для любимого брата – надеюсь сделать серьёзные успехи, которые позволят тебе показывать мои работы, не компрометируя себя. А затем я уеду куда-нибудь на юг, чтобы не видеть всего этого скопления художников, которые как люди внушают мне отвращение.

А всё-таки забавный город этот Париж, где нужно подыхать, чтобы выжить, и где создать что-нибудь может лишь тот, кто наполовину мёртв!

Проезжая Тараскон, я видел великолепный пейзаж – любопытное нагромождение исполинских жёлтых скал самых причудливых форм. В лощинах между этими скалами – ряды маленьких круглых деревцев с оливково-или серо-зелёной листвой: наверно, лимонные деревья. Здесь же, в Арле, местность кажется ровной – великолепные участки красной почвы, засаженные виноградом; фон – нежно-лиловые горы. А снежные пейзажи с белыми вершинами и сверкающим, как снег, небом на заднем плане походят на зимние ландшафты японских художников.

Впредь – хотя для начала это не имело никакого значения – надо будет указывать меня в каталогах под тем именем, которым я подписываю холсты, то есть под именем Винсента, а не Ван Гога, по той убедительной причине, что последнего французам не выговорить.

Получил письмо от Гогена. Он пишет, что был болен и пролежал две недели. Бедняга, до чего же ему не везёт! Чёрт побери, когда же наконец народится поколение художников, обладающих физическим здоровьем? Иногда я просто лопаюсь от злости, глядя на самого себя: мне мало быть ни больным, ни здоровым, как другие. Мой идеал – такая конституция, чтобы дожить до восьмидесяти лет, и чтобы в жилах текла кровь, настоящая здоровая кровь. Если бы хоть знать, что следующее поколение художников будет счастливее нас! Всё-таки утешение…

Гоген рассказывает, что, когда матросы поднимают тяжёлый груз или выбирают якорь, они начинают петь – это прибавляет им бодрости и создаёт такой ритм, который позволяет предельно напрячь силы. Как этого не хватает всем нам!

Цинковые белила, которыми я пользуюсь, плохо сохнут; поэтому не могу покамест выслать полотна. К счастью, время сейчас хорошее – не в смысле погоды – на один тихий день приходится три ветреных, а в смысле того, что зацвели сады. Рисовать на ветру очень трудно, но я вбиваю в землю колышки, привязываю к ним мольберт и работаю, несмотря ни на что – слишком уж кругом прекрасно. Я работаю как бешеный: сейчас цветут сады и мне хочется написать провансальский сад в чудовищно радостных красках. Сегодня вообще удачный день. Я ужасно доволен. Утром я рисовал сливы в цвету, как вдруг поднялся жуткий ветер – такого я нигде ещё не видел. Налетал он порывами, а в промежутках выходило солнце, и на сливе сверкал каждый цветок. Как это было прекрасно!.. С риском и под угрозой, что мольберт вот-вот рухнет, я продолжал писать. В белизне цветов много жёлтого, синего и лилового, небо – белое и синее. Интересно, что скажут о фактуре, которая получается при работе на воздухе? Посмотрим…

Хочу также написать звёздную ночь над кипарисами или, может быть, над спелыми хлебами – здесь бывают очень красивые ночи. Всё время работаю как в лихорадке.

Здешний воздух решительно идёт мне на пользу, желаю и тебе полной грудью подышать им. В одном отношении он действует на меня очень забавно – я пьянею с одной рюмки коньяку; а раз мне нет больше нужды прибегать к возбуждающим средствам для поддержания кровообращения, тело моё изнашивается меньше.

Кончилась ли наконец зима в Париже?

Посылаю тебе рулон – с дюжину небольших рисунков пером. Ты найдёшь среди них набросок, торопливо сделанный на жёлтой бумаге – лужайка на площади у въезда в город, за нею здание. Так вот, сегодня я снял в нём правый флигель, состоящий из четырёх комнат, вернее, из двух комнат с двумя кладовками. Этот дом будет моей мастерской, моей штаб-квартирой на всё время пребывания на юге. Я стану свободен от гостиничных дрязг, которые выводят меня из равновесия и вредно на мне отражаются. На этот раз я выбрал жильё удачно. Представляешь себе – дом снаружи жёлтый, внутри белый, солнечный. Наконец-то я увижу, как выглядят мои полотна в светлом помещении. Пол вымощен красными плитками, под окнами лужайка...

При необходимости я готов и даже рад буду разделить свою новую мастерскую с каким-нибудь другим художником. Быть может, на юг приедет Гоген…

Я видел тут женщин, не уступающих красотой моделям Гойи или Веласкеса. Они умеют оживить чёрное платье розовым пятном, умеют так одеться в белое, жёлтое, розовое, или в зелёное с розовым, или даже в голубое с жёлтым, что в наряде их с художественной точки зрения ничего нельзя изменить. Мне думается, тут можно кое-что сделать в области портрета. Но прежде, чем я решусь заняться этим, надо привести в порядок нервную систему и как-то обставиться, чтобы иметь возможность приглашать людей к себе в мастерскую...

Если мы хотим жить и работать, нужно соблюдать осторожность и следить за собой. Холодные обтирания, свежий воздух, простая и доброкачественная пища, тёплая одежда, хороший сон и поменьше огорчений! И не позволять себе увлекаться женщинами и жить полной жизнью в той мере, в какой нам этого хочется. Боже мой, какое отчаяние, какая подавленность охватили меня, когда я бросил пить, стал меньше курить и вновь начал размышлять вместо того, чтобы избегать всякой необходимости думать! Как мне видится, наша неврастения объясняется главным образом роковой наследственностью: в условиях цивилизации человечество вырождается от поколения к поколению. Возьми, к примеру, нашу сестру Вил. Она не пьет, не распутничает, а всё-таки у нас есть одна её фотография, на которой взгляд у неё как у помешанной.

Тоска по недостижимому идеалу всегда сидит в нас и дает о себе знать в любой момент нашего художнического существования. Ты чувствуешь себя извозчичьей клячей, которой рано или поздно придётся впрягаться в телегу. А тебе хочется не этого – ты предпочёл бы резвиться на солнечном лугу, у реки, в обществе других, таких же свободных, как ты, лошадей – да, резвиться и размножаться. Не удивлюсь, если окажется, что именно в этом первопричина нашей сердечной надорванности. Не помню уж, кто назвал такое состояния качанием между смертью и бессмертием. Мы – всего лишь звено в непрерывной цепи художников; и платим за это дорогой ценой – ценой здоровья, молодости и свободы, которой пользуемся не в большей степени, чем извозчичья кляча, везущая весною людей за город.

Однако я не представляю себе, чтобы художник будущего мог торчать в кабачках, иметь во рту не зубы, а протезы, и шляться по борделям для зуавов, как я.

Знай, мне легче совсем бросить живопись, чем видеть, как ты надрываешься ради денег.  
Конечно, они нам нужны, но стоит ли приобретать их такой ценой? Видишь ли, христианскую идею о том, что человек «должен готовиться к смерти», лучше выбросить из головы. Сам Христос, как мне кажется, отнюдь её не разделял. Ведь он любил людей и мир – любил гораздо больше, чем они того заслуживают! Разве ты не понимаешь, что самопожертвование и стремление жить для других, когда это влечёт за собой форменное самоубийство, есть грубая ошибка, поскольку в таком случае мы невольно делаем наших ближних убийцами?

Знаешь, мне кажется, что ассоциация импрессионистов должна стать чем-то вроде сообщества двенадцати английских прерафаэлитов; я уверен, что такая ассоциация возможна и что художники сумеют обеспечить друг другу существование и независимость от торговцев картинами, если только передадут в собственность своей организации значительное число картин и согласятся делить как прибыли, так и убытки.  
Не думаю, что такая организация просуществует очень долго, но, пока она будет существовать, можно будет жить и работать без боязни. Ясно одно: раз жизнь коротка и быстротечна, а ты – художник, значит, пиши…  
Читаю книгу о Вагнере, которую затем перешлю тебе. Какой художник! Появись такой и в живописи – вот было бы здорово! Но он ещё появится…

У Средиземного моря цвет макрели, то есть непрерывно меняющийся. Оно то зелёное, то лиловое; сейчас оно кажется синим, а через секунду уже принимает серый или розовый оттенок… Берег здесь песчаный, нет ни скал, ни камней; точь-в-точь Голландия, только дюн меньше, а синевы больше... В городке, вернее, деревне не наберётся и сотни домов…  
Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно – это было прекрасно. На тёмной синеве неба пятна облаков, то ещё более синих, чем яркий кобальт, то светлых, напоминающих голубую белизну Млечного Пути. На синем фоне – яркие звёзды: зеленоватые, жёлтые, белые, розовые, более светлые, более похожие на драгоценные камни, чем у нас на родине и даже в Париже; их можно сравнить с опалами, изумрудами, ляпис-лазурью, рубинами, сапфирами.  
Подходил ко мне красавец жандарм, выспрашивал, кто я такой; подходил и кюре. Люди здесь, наверно, хорошие: даже у кюре вид порядочного человека…

Ты упомянул о пустоте, которую порой ощущаешь в себе; то же самое – и со мной.  
Но подумай сам: наше время – эпоха подлинного и великого возрождения искусства; прогнившая официальная традиция ещё держится, но, по существу, она уже творчески бессильна; однако на одиноких и нищих новых художников смотрят покамест как на сумасшедших; и они – по крайней мере с точки зрения социальной – на самом деле становятся ими из-за такого отношения к ним. И, всё-таки, вечное искусство и его возрождение, этот зелёный побег, который дали корни старого срубленного ствола.

…Но на сердце становится тоскливо, как подумаешь, что проще и дешевле было бы творить не искусство, а свою собственную жизнь…

Я собираюсь впредь кое-что изменить в своих картинах, а именно – вводить в них побольше фигур. Фигуры – единственное в живописи, что волнует меня до глубины души: они сильнее, чем всё остальное, дают мне почувствовать бесконечность… Нa прошлой неделе сделал целых два портрета моего почтальона – поясные, включая руки, и голову в натуральную величину. Чудак отказался взять с меня деньги, но обошёлся мне дороже остальных моделей, так как ел и пил у меня. Впрочем, эти ничтожные убытки – не велика беда: позировал он превосходно.

Если ты художник, тебя принимают либо за сумасшедшего, либо за богача; за чашку молока с тебя дерут франк, за тартинку – два; а картины-то не продаются. В молодости веришь, что усердие и труд обеспечат тебя всем, что тебе нужно; в моём возрасте в этом начинаешь сомневаться.

Я начал было подписывать свои картины, но тут же перестал – больно уж глупо это выглядит. На одной марине красуется огромная красная подпись – мне просто нужно было оживить зелёные тона красной ноткой.

Я чувствую, как покидает меня то, чему я научился в Париже, и как я возвращаюсь к тем мыслям, которые пришли мне в голову, когда я жил в деревне и не знал импрессионистов. Вместо того чтобы пытаться точно изобразить то, что находится у меня перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя.  
Мы сейчас оставим теорию в покое, но предварительно я поясню свою мысль примером.  
Допустим, мне хочется написать портрет моего друга-художника, у которого большие замыслы и который работает так же естественно, как поёт соловей – такая уж у него натура. Этот человек светловолос. И я хотел бы вложить в картину всё своё восхищение, всю свою любовь к нему. Следовательно, для начала, я пишу его со всей точностью, на какую способен. Но полотно после этого ещё не закончено. Чтобы завершить его, я становлюсь необузданным колористом. Я преувеличиваю светлые тона его белокурых волос, доходя до оранжевого, хрома, бледнолимонного. Позади его головы я пишу не банальную стену убогой комнатушки, а бесконечность – создаю простой, но максимально интенсивный и богатый синий фон, на какой я способен, и эта нехитрая комбинация светящихся белокурых волос и богатого синего фона даёт тот же эффект таинственности, что звезда на тёмной лазури неба.

И всё-таки, дорогой мой брат, добрые люди увидят в таком преувеличении только карикатуру.  
Но что нам в том?

В надежде, что у нас с Гогеном будет общая мастерская, я хочу её декорировать. Одни большие подсолнухи – ничего больше. Рисую и пишу с таким же рвением, с каким марселец уплетает свою буйабесс, что, разумеется, тебя не удивит. Если мой план удастся, у меня будет с дюжину панно – целая симфония жёлтого и синего. Уже несколько дней работаю над ними рано поутру: цветы быстро вянут, и всё надо успеть схватить за один присест…

В общем, как дела пойдут, так и ладно. Я лишь заранее предупреждаю, во избежание дальнейших споров: возглавлять мастерскую будет Гоген, а не я.

Я всё больше и больше стараюсь выработать простую технику, которая, видимо, будет не импрессионистской. Я не порываю с импрессионизмом – раз я только попутчик, к чему высказывать точку зрения публично? Видит Бог, в жизни всегда полезно выглядеть немножко дураком: мне ведь нужно выиграть время, чтобы учиться. Мне хочется писать так, чтобы всё было ясно видно каждому, кто не лишён глаз. Убеждён, что написать хорошую картину не легче, чем найти алмаз или жемчужину. Сравнение с жемчужиной пришло мне на ум в самый разгар моих затруднений.

…Работаю также ещё над одним букетом и натюрмортом – парой старых башмаков.

После нескольких тревожных недель выдалась наконец и более отрадная. Беда одна не ходит, но и радость тоже. Денежные неприятности с хозяином моей гостиницы так угнетали меня, что я решил воспринимать их лишь с комической стороны. Я наорал на вышеназванного содержателя гостиницы, хотя он в общем-то человек неплохой, и объявил, что, раз я переплатил ему столько денег зря, мне придётся в возмещение своих расходов нарисовать его паршивую лавочку. Три ночи напролёт сидел и работал, а спал днём. Ночное кафе – место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Я пытался столкнуть контрасты цветов, воспроизвести атмосферу адского пекла – передав демоническую мощь кабака-западни. И всё это под личиной японской весёлости и тартареновского добродушия.

Эту ночь я, наконец, спал уже у себя, и, хотя дом ещё не совсем обставлен, я им очень доволен. Чувствую, что сумею сделать из него нечто долговечное, такое, чем смогут воспользоваться и другие. Красные плиты пола, белые стены, мебель ореховая или некрашеного дерева, из окон видны зелень и клочки ярко-синего неба. Вокруг дома – городской сад, ночные кафе, бакалейная лавка. Моя идея – создать, в конечном счёте, и оставить потомству мастерскую, где мог бы жить последователь. Если в том, что делаешь, чувствуется дыхание бесконечности, если оно оправданно и имеет право на существование, работается легче и спокойнее.

Работа над трудным материалом идёт мне на пользу. Тем не менее, временами я испытываю страшную потребность – как бы это сказать – в религии. Тогда я выхожу ночью писать звёзды.

А ведь Петрарка жил совсем неподалеку отсюда, в Авиньоне. Я вижу те же самые кипарисы и олеандры, на которые смотрел и он. Мне всегда кажется, что поэзия есть нечто более страшное, нежели живопись, хотя последняя – занятие и более грязное, и более скучное. Но поскольку художник ничего не говорит и молчит, я всё-таки предпочитаю живопись.

Я сделал набросок публичного дома и собираюсь сделать с него целую картину…

На этот раз мне пришлось круто – деньги кончились в четверг, а сегодня уже понедельник. Это чертовски долго. Четыре дня я прожил в основном на двадцати трёх чашках кофе с хлебом, да и те выпросил в кредит. Вина́ здесь не твоя, а моя, если речь вообще может идти о вине: мне не терпелось обрамить свои картины, и я заказал рамок больше, чем позволял мой бюджет – мне ведь пришлось ещё уплатить за аренду дома и прислуге. Я здоров, но непременно свалюсь, если не начну лучше питаться и на несколько дней не брошу писать. Не будь моя природа двойственной – я наполовину монах, наполовину художник – давно бы дошёл до состояния безумия. Не думаю, что это была бы мания преследования: когда я возбужден, меня поглощают скорее мысли о вечности и загробной жизни.  
Но, как бы то ни было, мне не следует слишком полагаться на свои нервы.

Арль, как город, ничего особенного собой не представляет, ночью здесь черным-черно. Мне сдаётся, что обилие газа, горящего оранжевым и жёлтым светом, лишь углубляет синеву ночи, здешнее ночное небо, на мой взгляд – и это очень смешно – чернее парижского. Если когда-нибудь вернусь в Париж, попробую написать эффект газового света на бульваре.

Гоген прибыл сюда в добром здравии! Он – удивительный человек: никогда не выходит из себя, работает напряжённо, но спокойно и, несомненно, дождётся удобного случая, чтобы сразу и значительно шагнуть вперёд. В отдыхе он нуждается не меньше, чем я.

Ах, почему тебя не было с нами в воскресенье! Мы видели совершенно красный виноградник – красный, как красное вино. Издали он казался жёлтым, над ним – зелёное небо, вокруг – фиолетовая после дождя земля, кое-где на ней – жёлтые отблески заката.

Два мои последних этюда довольно забавны. Первый – стул с совершенно жёлтым соломенным сиденьем на фоне стены и красных плиток пола (днём). Второй – зелёное и красное кресло Гогена при ночном освещении, пол и стены также зелёные и красные, на сиденье два романа и свеча. Написан этюд на парусине густыми мазками.

Мы с Гогеном много спорим. Наши дискуссии наэлектризованы до предела, и после них мы иногда чувствуем себя такими же опустошенными, как разряженная электрическая батарея.

Думаю, что Гоген немного разочаровался в славном городе Арле, в маленьком жёлтом домике, где мы работаем, и, главным образом, во мне. Короче говоря, я считаю, что он должен твёрдо решить – оставаться или уезжать. Но я посоветовал ему как следует подумать и взвесить своё решение, прежде чем начать действовать. Гоген – человек очень сильный, очень творческий, но именно по этой причине ему необходим покой. Найдёт ли он его где-нибудь, если не нашёл здесь? Жду, чтобы он принял решение, когда окончательно успокоится.

Пишу тебе из кабинета уже знакомого тебе доктора Рея, проходящего практику при здешней лечебнице. Надеюсь, что со мной ничего особенного не случилось – просто, как это бывает у художников, нашло временное затмение, сопровождавшееся высокой температурой и значительной потерей крови, поскольку была перерезана артерия; но аппетит немедленно восстановился, потеря крови с каждым днём восполняется, а голова работает всё яснее.  
Поэтому прошу тебя начисто забыть и мою болезнь, и твою невесёлую поездку.

Перейдём лучше к нашему другу Гогену. Уж не напугал ли я его и в самом деле? Почему он не подаёт признаков жизни? Он ведь как будто уехал вместе с тобой. Передай ему, что я всё время думаю о нём и прошу его написать…

Исчезновение Гогена – ужасный удар. Я перестал понимать его поступки и лишь наблюдаю за ним в вопросительном молчании. Он отбрасывает нас назад, поскольку мы создавали и обставляли дом именно для того, чтобы друзья в трудную минуту могли найти там приют. Хотя в данный момент все будут бояться меня, со временем это пройдёт. Все мы смертны, и каждый из нас подвержен всевозможным болезням. Наша ли вина, что болезни эти бывают весьма неприятного свойства?

Это удивительно, если сравнить мое сегодняшнее состояние с тем, что было месяц назад! Я, разумеется, всегда знал, что можно сломать себе руку или ногу и затем поправиться; но мне было неизвестно, что можно душевно надломиться и всё-таки выздороветь. Выздоровление, на которое я и надеяться-то не смел, кажется мне настоящим чудом, хотя и ставит передо мной вопрос: «А зачем, собственно, выздоравливать?»

Нормальность – это как асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут.

После того, что случилось со мной, я больше не смею понуждать других художников ехать сюда: они рискуют потерять разум, как потерял его я.

Должен сказать, что соседи исключительно добры ко мне: здесь ведь каждый чем-нибудь страдает – кто лихорадкой, кто галлюцинациями, кто помешательством; поэтому все понимают друг друга с полуслова, как члены одной семьи.

Пишу тебе в здравом уме и памяти, не как душевнобольной, а как твой так хорошо тебе знакомый брат. Вот как обстоит дело. Кое-кто из здешних жителей обратился к мэру с заявлением (больше 80 подписей) о том, что я – человек, не имеющий права жить на свободе и так далее в том же духе. После этого полицейский комиссар отдал распоряжение снова госпитализировать меня. Словом, вот уже много дней я сижу в одиночке под замком и присмотром служителей, хотя невменяемость моя не доказана и вообще недоказуема. Если я дам выход своему негодованию, меня немедленно объявят буйнопомешанным. Если же я наберусь терпения, сильное волнение, вероятно, усугубит моё тяжёлое состояние; впрочем, будем надеяться, что этого не случится. Вот почему я прошу тебя настоящим письмом ни во что не вмешиваться и дать событиям идти своим ходом.

Если будешь сюда писать, постарайся добиться, чтобы мне, по крайней мере, разрешили выход в город. Насколько я могу судить, я не сумасшедший в прямом смысле слова. Ты убедишься, что картины, сделанные мною в минуты просветления, написаны спокойно и не уступают моим предыдущим работам. Работа меня не утомляет, наоборот, мне её не хватает. Начальство здесь в лечебнице – как бы это сказать? – настоящие иезуиты: очень-очень хитрые, учёные, способные, прямо-таки импрессионисты. Они умеют добывать сведения с поразительной ловкостью, которая меня удивляет и смущает, хотя… Словом, вот чем до некоторой степени объясняется моё молчание.

По-моему, надо решительно протестовать и не допустить, чтобы у нас отняли мастерскую со всем её оборудованием. Кроме того, чтобы заниматься своим ремеслом, мне нужна свобода. Доктор говорит, что я ел слишком мало и нерегулярно, поддерживая себя только алкоголем и кофе. Допускаю, что он прав. Но бесспорно и то, что я не достиг бы той яркости жёлтого цвета, которой добился прошлым летом, если бы чересчур берёг себя.

Я думаю, мне придётся сознательно избрать роль сумасшедшего, так же как Дега избрал себе маску нотариуса. Только у меня, вероятно, не хватит сил играть такую роль.

В лечебнице сейчас все очень-очень предупредительны со мной, что, равно как и многое другое, чрезвычайно меня смущает и гнетёт…

К концу месяца собираюсь перебраться в убежище в Сен-Реми или иное учреждение того же рода. Прости, что не вхожу в подробности и не взвешиваю все «за» и «против». У меня от разговоров об этом раскалывается голова. Надеюсь, будет достаточно, если я скажу, что решительно не способен искать новую мастерскую и жить там в одиночестве – ни здесь, ни в другом месте: для меня сейчас любое одинаково. Жить же с другим человеком, даже с художником, трудно, очень трудно: берёшь на себя слишком большую ответственность. Не смею даже думать об этом.

Иногда, подобно тому как валы́ исступленно бьются о глухие ска́лы, на меня накатывает бурное желание держать кого-нибудь в объятиях, скажем женщину типа наседки, но насчёт подобных порывов не следует заблуждаться – они всего лишь следствие истерической возбужденности, а не реальные планы. Мы с доктором уже не раз подтрунивали над этим. Он ведь предполагает, что и любовь возбуждается микробами; его догадка меня не удивляет и, думается мне, вряд ли кого-нибудь может шокировать.

Ах, милый Тео, если бы ты мог взглянуть сейчас на здешние оливы, на их листву цвета старого позеленевшего серебра на голубом фоне. А оранжевые пашни! Это необычайно тонко, изысканно, словом, нечто совсем иное, чем представляешь себе на севере. Это – как подстриженные ветлы наших голландских равнин или дубовый подлесок на наших дюнах: в шелесте олив слышится что-то очень родное, бесконечно древнее и знакомое. Они слишком прекрасны, чтобы я дерзнул их написать или хоть задался такой мыслью. Кончаю. Хотел поговорить с тобой ещё об очень многом, но у меня, как я тебе уже писал, голова не в порядке… Тем не менее пробую утешать себя той мыслью, что для человека недуги, подобные моему – всё равно что плющ для дуба.

Весь день сегодня занят упаковкой ящика с картинами и этюдами. Один этюд мне пришлось заклеить газетами – краски шелушатся. Это одна из моих лучших работ, и, увидев её, ты, надеюсь, сумеешь более отчетливо представить себе, чем могла бы стать моя мастерская, если бы затея с нею не провалилась. Этот этюд, равно как и некоторые другие, во время моей болезни испортился от сырости.  
Во-первых, случилось наводнение и в дом проникла вода; во-вторых – и это главное – дом не топили вплоть до моего возвращения, когда я обнаружил, что из стен сочится вода и селитра. У меня создалось впечатление, что погибла не только мастерская, что непоправимо испорчено и воспоминание о ней – мои этюды. А ведь мне так хотелось создать нечто пусть очень простое, но долговечное! Видимо, я затеял борьбу против слишком превосходящих меня сил.

Я был бы очень рад и доволен, если бы мне удалось завербоваться на пять лет в Иностранный легион (туда, как мне кажется, берут до сорока). Мне думается, такой выход был бы наилучшим. Не думай, что я руководствуюсь мыслью о самопожертвовании или собираюсь совершить доброе дело. В жизни я неудачник, а моё душевное состояние таково и всегда было таким, что я, как бы обо мне ни заботились, даже не мечтаю упорядочить свою жизнь. Здесь, в лечебнице, где мне приходится подчиняться правилам, я чувствую себя спокойно. И на военной службе будет примерно то же самое.

Боюсь, однако, что меня не возьмут – об инциденте, происшедшем со мною, в городе знают; возможный же, точнее, вполне вероятный отказ так пугает меня, что я робею и не решаюсь ничего предпринять.

Хочу, как только осмотрюсь на новом месте и ко мне привыкнут, попробовать стать санитаром или чем угодно ещё, лишь бы снова начать хоть что-нибудь делать.

Что поделывает Гоген? Я всё ещё не хочу ему писать – жду, пока не стану совсем нормальным; но я часто думаю о нём и был бы рад узнать, что дела у него идут относительно неплохо.

Я вновь начинаю испытывать любовное томление. В конце концов, алкоголь и табак хороши или плохи – последнее зависит от точки зрения – тем, что они, бесспорно, представляют собою успокаивающее средство, которым не следует пренебрегать, когда занимаешься изящными искусствами. Плотские страсти сами по себе значат для меня немного, но я смею думать, что во мне по-прежнему очень сильна потребность в близости с людьми, среди которых я живу…

Увы, я слишком стар и во мне слишком много искусственного (особенно если приделаю себе ухо из папье-маше).

Здесь в лечебнице столько места, что хватило бы на мастерские для трёх десятков художников. Я должен трезво смотреть на вещи. Безусловно, есть целая куча сумасшедших художников: сама жизнь делает их, мягко выражаясь, несколько ненормальными. Хорошо, конечно, если мне удастся снова уйти в работу, но тронутым я останусь уже навсегда.

…Помешательство в известном смысле благотворно – благодаря ему, возможно, перестаёшь быть исключением.

Впрочем, мне всё равно, что со мной будет.

Должен сказать, что я в значительной мере перестаю бояться безумия, когда вижу вблизи тех, кто поражен им, тех, каким в один прекрасный день легко могу стать я сам. Раньше они внушали мне отвращение, и я приходил в отчаяние, вспоминая, какое множество людей нашей профессии кончили тем же. Так вот, теперь я думаю обо всем этом без страха, то есть считаю смерть от сумасшествия не более страшной, чем смерть, например, от чахотки или сифилиса…

Как прекрасен этот край, какое здесь солнце и голубое небо! А ведь я всего-то и вижу, что сад. Да ещё через окно.

Помещение, где мы проводим дождливые дни, напоминает зал для пассажиров третьего класса на какой-нибудь захолустной станции, тем более что здесь есть и почтенные сумасшедшие, которые постоянно носят шляпу, очки, трость и дорожный плащ, вроде как на морском курорте. Вот они-то и изображают пассажиров.  
Вчера нарисовал довольно редкую и очень большую ночную бабочку. Её называют «мёртвая голова», и отличается она удивительно изысканной окраской: цвет у неё чёрный, серый, переливающийся белый с карминными рефлексами, кое-где переходящими в оливково-зелёные...  
Её пришлось умертвить, чтобы написать, и это очень обидно: насекомое было так красиво!

Дни здесь неизменно похожи друг на друга, а сам я поглощен одной мыслью – что хлеба́ или кипарисы заслуживают самого внимательного рассмотрения. Написал хлебное поле – очень жёлтое и очень светлое; это, вероятно, самое светлое из всех моих полотен. Кипарисы всё еще увлекают меня. Я хотел бы сделать из них нечто вроде моих полотен с подсолнухами; меня удивляет, что до сих пор они не были написаны так, как их вижу я. По линиям и пропорциям они прекрасны, как египетский обелиск. И какая изысканная зелень! Они – как чёрное пятно в залитом солнцем пейзаже, но это чёрное пятно – одна из самых интересных и трудных для художника задач, какие только можно себе вообразить. Их надо видеть тут, на фоне голубого неба, вернее, в голубом небе. Чтобы писать природу здесь, как, впрочем, и всюду, надо долго к ней присматриваться. Свет – таинствен.

На дворе оглушительно стрекочут кузнечики, издавая пронзительный звук, который раз в десять сильнее пения сверчка. У выжженной травы красивые тона старого золота. Вещи приходят в упадок и ветшают, а вот кузнечики остаются теми же, что и во времена так любившего их Сократа. И стрекочут они здесь, конечно, на древнегреческом языке.

Новый приступ начался у меня, дорогой брат, в ветреный день, прямо в поле, когда я писал. Полотно я всё-таки закончил и пошлю тебе.

Представляешь себе, как я удручён возобновлением припадков: я ведь уже начинал надеяться, что они не повторятся. Будет, пожалуй, неплохо, если ты напишешь г-ну доктору Пейрону несколько слов и объяснишь ему, что работа над картинами – необходимое условие моего выздоровления: я лишь с большим трудом перенёс последние дни, когда был вынужден бездельничать и меня не пускали даже в комнату, отведённую мне для занятий живописью…

Работа подвигается довольно неплохо. Сейчас мучусь над одной вещью – начато ещё до приступа – над «Жнецом». Этюд выполнен целиком в жёлтом, и густыми мазками, но мотив прост и красив. Я задумал «Жнеца», неясную, дьявольски надрывающуюся под раскалённым солнцем над нескончаемой работой фигуру, как воплощение смерти в том смысле, что человечество – это хлеб, который предстоит сжать. Следовательно, «Жнец» является, так сказать, противоположностью «Сеятелю», которого я пробовал написать раньше. Но в этом олицетворении смерти нет ничего печального – всё происходит на ярком свету, под солнцем, заливающим всё своими лучами цвета червонного золота.  
Словом, я опять взялся за дело, не намерен сдаваться и с каждым новым полотном продолжаю искать что-то новое.  
Ах, я почти верю, что для меня опять начался период просветления. Какая любопытная вещь мазок, прикосновение кисти к холсту!

Последние дни чувствую себя отлично. По-моему, г-н Пейрон прав, утверждая, что я не сумасшедший в обычном смысле слова, так как в промежутках между приступами мыслю абсолютно нормально и даже логичнее, чем раньше. Но приступы у меня ужасные: я полностью теряю представление о реальности. Всё это, естественно, побуждает меня работать не покладая рук: ведь шахтёр, которому постоянно грозит опасность, тоже торопится поскорее сделать всё, что в его силах.

Во время моей последней болезни шёл мокрый снег, который тут же таял. Однажды ночью я встал и долго любовался пейзажем. Ах, природа никогда ещё не казалась мне такой трогательной и одухотворённой!

Сегодня попытался прочесть полученные письма, но ничего не понял – голова ещё не работает достаточно ясно… Правда, она не болит, но я совершенно отупел. Может быть, я действительно вылечусь, если поживу немножко в деревне? Работа шла успешно, последнее своё полотно «Цветущая ветка» – ты его увидишь – я сделал, пожалуй, лучше и тщательнее, чем все предыдущие: оно написано спокойным, более уверенным, чем обычно, мазком.  
И на другое же утро я стал конченым человеком, превратился в скотину. Это трудно понять, но, увы, это так.

Как только г-н Пейрон позволит, я вновь сяду за работу; если же не позволит, я немедленно удираю отсюда: ведь только работа помогает мне сохранять душевное равновесие, а у меня куча новых замыслов.

Итак, ты предлагаешь мне поскорее вернуться на север. Я согласен.  
Прежде всего, я имею право менять лечебницу по своему усмотрению – ведь это же не значит требовать возвращения мне полной свободы. Я старался быть терпеливым и до сих пор никому не причинил вреда. В связи с чем, категорически возражаю против того, на чём настаиваешь ты – меня вовсе не надо сопровождать до самого Парижа. Мой багаж мы оставим на вокзале, я пробуду у тебя всего два-три дня, после чего отправлюсь в деревню. Есть основания предполагать, что переезд действительно пойдёт мне на пользу.

Ах, чего бы я только не сделал, если б не эта проклятая болезнь! Но что поделаешь! Моему пребыванию на юге пришёл конец.

Я уже замечаю, что пребывание на юге помогло мне лучше увидеть север. Всё получилось, как я предполагал: я лучше воспринимаю фиолетовый там, где он есть. Овер несомненно очень красивое место. Настолько красивое, что, на мой взгляд, мне лучше работать, а не предаваться безделью, несмотря на все неприятности, которыми может быть чревато для меня писание картин. Здесь найдётся, что рисовать. Дорогой мой, по зрелом размышлении я не думаю, что работа моя станет хорошей, но лучшей, чем раньше – наверняка. Всё же остальное, например, взаимоотношения с людьми, имеет лишь второстепенное значение. У меня нет таланта в таких вещах, и тут уж я ничего поделать с собой не могу…  
Впрочем, если наладится с работой, придёт и душевное спокойствие. Я до сих пор думаю, что заболел просто из-за южного климата и возвращение сюда само по себе излечит меня…

Здесь, между прочим, много соломенных крыш, что уже становится редкостью.

Ах, если бы у каждого художника было на что жить и работать! Но раз этого нет, я хочу писать картины, писать много и лихорадочно.  
Будущие мои картины рисуются мне пока что ещё очень туманно, обдумывание моих замыслов потребует времени, но постепенно всё прояснится. Пока что живу по принципу: «Лишь бы день до вечера» – сейчас такая дивная погода. Самочувствие тоже хорошее. Ложусь спать в девять, но встаю почти всегда в пять утра. Надеюсь, ты понимаешь, как приятно после долгого перерыва вновь почувствовать себя самим собой. Надеюсь также, что такое состояние не окажется слишком кратковременным. Г-н доктор Гаше уверяет, что всё идет превосходно и что он считает возобновление приступов очень маловероятным.

На мой взгляд, г-н Гаше так же болен и нервен, как я или ты, к тому же он много старше нас и несколько лет назад потерял жену; но он врач до мозга костей, поэтому его профессия и вера в неё помогают ему сохранять равновесие. Мы с ним уже подружились. Работаю сейчас над его портретом: голова в белой фуражке, очень светлые и очень яркие волосы; кисти рук тоже светлые, синяя куртка и кобальтовый фон. Он сидит, облокотясь на красный стол, где лежит жёлтая книга и веточка наперстянки с лиловыми цветами. Вещь сделана с тем же настроением, что и мой автопортрет, который я захватил с собой, уезжая сюда. Г-н Гаше в безумном восторге от этого портрета и требует, чтобы я, если можно, написал для него точно такой же, что мне и самому хочется сделать.

Думаю, мы никоим образом не можем рассчитывать на доктора Гаше. Во-первых, он болен ещё сильнее, чем я, или, скажем, так же, как я. А когда слепой ведёт слепого, разве они оба не упадут в яму?

Я склонен думать, что болезнь иногда исцеляет нас: до тех пор, пока недуг не найдёт себе выхода в кризисе, тело не может прийти в нормальное состояние…

Частенько мною овладевает непреодолимая хандра. Чем нормальнее я себя чувствую, чем хладнокровнее судит обо всём мой мозг, тем более безумной и противоречащей здравому смыслу представляется мне моя затея с живописью, которая стоит нам таких денег и не возмещает даже расходов на неё. В подобные минуты у меня на душе особенно горько: вся беда в том, что в мои годы чертовски трудно менять ремесло. Как художник я уже никогда не стану чем-то значительным – в этом я совершенно уверен. Об этом могла бы идти речь лишь в том случае, если бы у меня всё изменилось – характер, воспитание, жизненные обстоятельства. Но мы слишком трезвые люди, чтобы допустить возможность подобных изменений.

То, что ты пишешь о моей работе, мне, разумеется, приятно, но я всё думаю о нашем проклятом ремесле, которое держит художника, как капкан. Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка. Но, быть может, для художника расстаться с жизнью вовсе не самое трудное? Ведь живописцы, даже мёртвые и погребённые, говорят со следующим поколением и с более отдалёнными потомками языком своих полотен. Кончается ли всё со смертью, нет ли после неё ещё чего-то? Вся ли человеческая жизнь открыта нам? А вдруг нам известна лишь та её половина, которая заканчивается смертью? Мне, разумеется, обо всём этом ничего не известно, но всякий раз, когда я вижу звёзды, я начинаю мечтать так же непроизвольно, как я мечтаю, глядя на чёрные точки, которыми на географической карте обозначены города и деревни. Почему, спрашиваю я себя, светлые точки на небосклоне должны быть менее доступны для нас, чем чёрные точки на карте Франции? Подобно тому, как нас везёт поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звёздам. Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока мы живём, мы не можем отправиться на звезду, равно как, умерев, не можем сесть в поезд. Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения.

Я всё больше прихожу к убеждению, что о Боге нельзя судить по созданному им миру: это лишь неудачный этюд. Согласись: любя художника, не станешь очень критиковать его неудачные вещи, а просто промолчишь. Но зато имеешь право ожидать от него чего-то лучшего. Нам следовало бы посмотреть и другие произведения Творца, поскольку наш мир, совершенно очевидно, был сотворен им на скорую руку и в неудачную минуту, когда он сам не понимал, что делает, или просто потерял голову. Правда, легенда утверждает, что этот этюд мира стоил Господу Богу бесконечного труда. Склонен думать, что легенда не лжёт, но этюд, тем не менее, плох во многих отношениях. Разумеется, такие ошибки совершают лишь мастера – и это, пожалуй, самое лучшее утешение, так как оно даёт основание надеяться, что Творец ещё сумеет взять реванш. Следовательно, нужно принимать нашу земную, столь сильно и столь заслуженно критикуемую жизнь такой, как она есть, и утешаться надеждой на то, что мы увидим нечто лучшее в ином мире.

В сущности, говорить за нас должны наши полотна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Контактные данные:***

[***boch-tdnl@yandex.ru***](mailto:boch-tdnl@yandex.ru)

***8-903-73-73-578 (Дмитрий)***